

Ася Векслер



Под знаком
Стрельца

Ася Векслер

*

Под знаком
Стрельца

С Т И Х И

ИЕРУСАЛИМ

А. Векслер

ПОД ЗНАКОМ СТРЕЛЬЦА

Издание осуществлено при помощи фонда АМОС

© Обложка автора.

Издательство ЛИРА, Р.О.В. 9681, Jerusalem, 96750

Иерусалим 1997

© Все права сохраняются за автором.

Asya Vexler

Tel. 02-6420097

Printed in Israel

I

ИЮЛЬ 1992 ГОДА

Вот и возьму я, легка на подъем,
груз, невеликий в итоге.
И, словно место исхода - Содом,
не оглянусь, чтобы вправду потом
вдруг соляным не остаться столпом
у Царскосельской дороги.

Сбоку скользнут верстовые столбы
краешка полустолицы.
Будто при звуке сигнальной трубы,
вскинется звездный Стрелец на дыбы.
И тяжеленная книга судьбы
располовинит страницы.

ВЗАМЕН РОДОСЛОВНОЙ

Я не в теплых краях рождена:
дальних предков дорога земная -
за чужой стороной сторона -
все влекла далеко от Синая.

Я и волны люблю, может быть,
в одичалом навечно просторе
оттого, что пришлось переплыть
им тогда Средиземное море.

Нападая на след как-нибудь,
мне б хотелось в минуты отрады
проследить, хоть отчасти, их путь
в темных главах "Испанской баллады".

Но укрыться они норовят.
Как назло, нет ни проблеска больше.
Были предки. Не знаю, где спят -
В Нидерландах, а может быть, в Польше.

Навсегда неизвестные мне,
где-то спят, даже смерти немилы.
И не знаю, в какой стороне
осквернялись родные могилы.

Их потомки все дальше брели.
Вековую скопили усталость.
Добрались до российской земли
и на ней - будь, что будет - остались

до рождений всех нас, до меня,
до решенья, что зрело в рассрочку,
вплоть до невероятного дня
возвращенья в исходную точку.

НАЧАЛО МОЛИТВЫ “ШМА”

Словно ветвь по ветру, надо мною
шелест: “Шма, Израэль...” Вихрь виною -
дальше неразборчивы слова.

Нет мне продолжения молитвы.
Многоточье вроде следа бритвы,
лезвием прошедшейся вдоль шва.

Нет, и нет, и нет, - как срезы ниток.
Тщетна повторяемость попыток
вслушаться, дознаться, набрести.
Время равнодушно. И сурово
в нем отсечены от слова слово,
от судьбы судьба. Прощай, прости.

“Шма, Израэль...” Все ж и это - милость,
что, хоть устно, что-то сохранилось
на разрыв, на пропасть, на разлад
тем, в ком забродяжил дух дорожный,
тем, кто остается, безнадежный,
тем, кто на распутье, как распят.

СТРОФЫ ИЗ ПИСЬМА

(январь 1991, из Петербурга в Бостон)

Марине Эскиной

Присмирел, поостыл стихотворческий жар.
Потускнел костерок на снегу.
И в неприкосновенности, как антиквар,
я храню твой заочный обдуманый дар
на бесплодном теперь берегу.

Здесь в мансарде на уровне крыш
тишь да гладь
и поодаль - не сглазить бы - гром.
Вот открою футляр, выну книгу-тетрадь.
Хорошо бы в нее о хорошем писать
не иначе как вечным пером.

Так диктует мне шелк, на ее переплет
нанеся двуединый сюжет,
где в туманном пространстве колумбовых вод
на одной стороне кто-то в лодке плывет,
на другой кто-то смотрит вослед.

Беспредельно желание глянуть за край -
мыса или надежд - все равно.
Божья милость, плывущего не покидай
и смотрящему вслед лодку к берегу дай -
может быть, и ему суждено.

* * *

Р. Яхнину

Поверх ребристых крыш санктпетербургский свет,
и куполом блестит недалний Исаакий.
В просторной мастерской ты пишешь мой портрет, -
в нем умысел двойной, и результат двоякий.

А я до мелочей запомню здешний вид
от верхних этажей по облачные дымы.
Отныне нам с тобой разлука не грозит:
художник и модель вовек не делимы.

Легка твоя рука - немислимый сюжет
запущен в ход. Глядишь, за полосой тумана
на берегу Невы останется портрет,
чтоб отпустить меня на берег Иордана.

КАЛЛИГРАФИЧЕСКИЙ РИСУНОК

В. и Е. Друбецким

Лошадка с буковками вместо седоков.
И столик с буковками вместо едоков.
И плата - буковки за все - недорого.
Лишь были б ровными бумажные снега.

Дай Бог удачи - одолеть, как на лету,
дорогу скатертью и стражу на мосту.
А расставание не будем рисовать, -
свечам в подсвечниках светить и оплывать.

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОГУЛКА

Пойдем же вдоль Мойки,
вдоль Мойки...

Александр Кушнер

В жизни сдвинутой, бредовой,
сбитой с толку, бестолковой,
за Голландию Новой,
ветхим - Бобринских - дворцом,
неразумны и нестойки,
будто с ярмарки-попойки,
мы брели остатком Мойки,
что маячит за стихом.

Мне запомнилась ограда
с монограммой. Тенью сада
укрывало след распада
зданье - пасынок дворцов.
Тем и кончились поблажки,
ибо мы достигли Пряжки,
без смирительной рубашки,
без гранитных берегов.

И не ведал край Коломны,
как мы, в сущности, бездомны
и вполне легкоподъемны, -
маркшагалова родня.
Шаг-другой - и втянет бездна.
Каково в ней, неизвестно.
Предотлетно, предотъездно, -
дата есть и время дня.

Но пока, в преддверье срока,
на углу, вздохнув глубоко,
повернули к дому Блока,
может быть, в последний раз,
вдоль по листьям, вдоль по хрусту.
То-то зябко. То-то грустно.
Вправду, городу быть пусту -
без тебя, меня и нас.

ЗОВ

В. и Л. Халупович

1

В стране, где обычаи - древних древней,
плоды вдоль дорог не снимают с ветвей.
Иди к ним, довольствуйся, каждый,
кто высушен жаром и жаждой.

Успеть бы однажды в праотчем краю,
взрастив безымянную строчку свою,
пустить ее по суховею,
чтоб счел ее каждый своею.

2

Подсыпает время соль в перец.
И совсем уж поседеть впору.
Но дай Бог назвать страну - Эрец.
И дай Бог найти коней в гору.

А не хватит на коней денег,
доведется двигать вверх пешком.
Но дай Бог назвать свой снег - шэлег.
И дай Бог назвать свой дождь - гешэм.

НОСТАЛЬГИЯ

Долгие привычки вытесняя,
далеко отсюда в дни другие
надвигалась дата отъездная -
отправная точка ностальгии.

Явствовало: участь эмигранта -
сетуя, перебирать потери.
И перекрывала облик Данта
тень невозвращенца Алигьери.

Ветер ворошил реестр изгнаний,
ссылок, бегств, спасений в одиночку.
Полнилась история скитаний,
принимая вновь за строчкой строчку.

Был сторонней волей продиктован
беглый текст, и не рассыпать литер:
город трижды переименован,
но, как был, так и остался - Питер.

Взвыли черной сотни отголоски.
Рупорозвучающей паутиной
помрачался садик Соловьевский,
сквер перед Казанским, двор Гостиный.

В неотвязной лихорадке гона,
в травле, возвещенной песьим лаем,
мы везде - на реках Вавилона,
если рядом не Ерушалаим.

Два тысячелетия - путь оттуда -
спрессовал в часы полет обратный
по-над географией галута,
подразмытой, шедшей на попятный.

Век мой до конца по шву распорот.
Порознь край равнинный с горным краем,
где приснился мне великий город
вдруг с поправкой на Ерушалаим.

Светлые дворцовые постройки
в перспективу шли как бы по росту.
Я узнала сразу угол Мойки,
прилежащий к Певческому мосту.

Чистая вода ее была мне
вся до дна прозрачностью открыта
в белом иерусалимском камне
вместо петербургского гранита.

Утром, примилив концы земные,
сон улегся облаком в ложбине.
... Если же вернуться к ностальгии,
с ней ведут знакомство на чужбине.

* * *

Ни кола, ни двора. Но зато на дворе
непривычная осень воркует в жаре.
Жизнь на птичьих правах. Но на каждой заре
дольше держится свет на горе.

С полсудьбы, с полуслова, с обрыва начнем,
из жилья на горе, что досталось внаем.
Как бы ни было, ты наконец-то знаком
с чувством дома, - хоть где он, твой дом?

Вижу горы с горы. Дотянулись до глаз
письмена каменистых нагорных террас.
Может быть, в них написано что-то о нас,
только чтение пока про запас.

Но читаются выжженный зноем пустырь,
верх часовни, один и другой монастырь.
А вокруг и повыше - гористая ширь.
И неисповедим поводьрь.

Ни кола, говорю, ни двора, ни кола.
Вместо эха в ответ из окна, из угла
гул органа, далекие колокола,
бой часов, - расправляйтесь, крыла.

Да еще здесь порою звучит глубина -
слышно издали пенье мужское: одна
синагога меж крыш и ветвей не видна,
будто в воздухе растворена.

НЕПОГОДА В ИУДЕЕ

Ночь с ветром и дождем,
с прерывистым и странным
звучаньем новых мест -
не струнным, не органным,
не колокольным, не голосовым -
единственно возможным: духовым.

Наверно, с ветхих пор
отсюда предвещаем
стихией жанр “Страстей”.
Твой край, Ерушалаим,
вновь полускрыла облачная рвань.
И музыки нерукотворна ткань.

В невидимой сей миг
извилине межгорной,
вдоль горловины дна,
что выгнуто валторной,
родится и восходит звукоряд,
толкуемый на иудейский лад.

Избранничества честь,
спускаемая свыше,
и встречный выбор твой
не обещают ниши.
Летит душа сквозь ледящий душ
в родимый вихрь всех разлученных душ.

ИЕРУСАЛИМСКОЕ ОКНО

Горизонт, обозначенный линией гор,
проведенной волнисто, с гробницей пророка
там, где линия выше. Библейский простор, -
оттого и присмотр нестороннего ока.

От востока исходит лучащийся свет,
или сумерки, ночь. Из наемного крова
этот вид за окном стоит древних монет,
а впридачу еще и псалма золотого.

ШАБАТ

Двусвечник, по рюмке на брата,
еда и вино для шабата -
название вина говорит,
что с нами субботу разделит
а-мелех Давид и кинг Дэвид,
и царь Иудеи Давид.*

Ладонь мою греет - ручное! -
веселое пламя свечное,
и звездочка с неба глядит.
О древней молитве радеет
а-мелех Давид и кинг Дэвид,
и царь Иудеи Давид.

Мы пробуем с толком и чувством
еду, что граничит с искусством,
вино, что недуг исцелит.
Смеется, хмелеет, балдеет
а-мелех Давид и кинг Дэвид,
и царь Иудеи Давид.

Вот, слышимый в Яффо и Хайфе,
псалом распевается в кайфе,
а мы разумеем иврит.
И чушь вдохновенную мелет
а-мелех Давид и кинг Дэвид,
и царь Иудеи Давид.

*Имя царя Давида на трех языках.

А все, что не так - под запретом.
В субботу не будем об этом,
как будто душа не болит.
Своей-то судьбой не владеет
а-мелех Давид и кинг Дэвид,
и царь Иудеи Давид.

Пройдем же сквозь Ерушалаим, -
для многих и это за краем
потерь, обретений, обид.
Нам улицу под ноги стелет
а-мелех Давид и кинг Дэвид,
и царь Иудеи Давид.

* * *

Не по питерской улице в тесной толпе,
вдоль по Яффо не скрыться из вида.
Все мы тут на миру. И прилюдно в кипе
но ночь молится Башня Давида.

Запрокинешь лицо - ведь воздушный поток
вертикален и небо слоится.
Пусть не вырвался ты на седьмое, ходок
по кругам иудейской столицы.

Без того хорошо и на нижнем - пешком
гнать себя каменистой дорогой,
над которой гребец-невидимка тайком
правит месяцем - лодкой двурогой.

НАПЕВНЫЕ СТИХИ

1

Если бы

Был бы мне удел счастливый дан,
Я б жила на улице Нисан.*
Власть недоли, тень самообмана
поглощал бы облачный туман.

Не рысцою резвой, не трусцой -
день до ночи цокал бы с ленцой.
Слышался бы в трубке телефонной
голос глуховатый с хрипотцой.

Сквозь цветенье сада, сквозь дурман
промах не считался б за изъян.
Я б о счастье мало хлопотала.
Я бы положилась на нисан.

Я бы положилась на нисан.
Я носила б легкость, будто сан.
И тогда ступил бы за калитку
собеседник, умница, смутьян.

Сторожем ночным из-за кулис
вышел бы на сцену кипарис,
высоко держа густые звезды,
чтоб мерцала даль в просветах трис.

* Нисан - один из весенних месяцев еврейского календаря

Злые силы стали бы добрей.
Ветер бы улегся у дверей.
В гору ли, с горы ль вела б дорога,
только б не на улицу Тишрей.*

Только б не на улицу Тишрей,
тихую в преддверии дождей,
в листьях, что роятся вроде чисел
отрывных листков календарей.

Там играют в даты, как в лото.
Не обещан выигрыш, зато
обеспечен проигрыш недалний
в сумерках, сквозных, как решето.

Все-то там уймется, облетит.
Ни тепла не станет, ни обид.
Улица Тишрей разъединяет
тех, кого нисан соединит.

2

Не распрощались мы, и все же разошлись.
На звездных гвоздиках кренясь, мерцает высь.
И, вслух не брошены, перемежают тьму
все эти “незачем”, “нет смысла”, “ни к чему”.

И разглагольствует свобода у виска
о том, что есть одна она наверняка.

* Тишрей - один из осенних месяцев еврейского календаря.

И невзначай ложится ветер на плечо,
чтоб стало вовсе ни тепло, ни горячо.

А все ж качаются туда-сюда весы,
как на межвластии нейтральной полосы,
пока надежда неразумная жива,
пока не сказаны последние слова.

3

Мало что остается от нескольких встреч, -
только чеховской Ялтой дохнувшая речь,
узнаваемый профиль с бородкой,
легкий хмель от надежды короткой.

Эхо Крыма в Иерусалимском лесу,
там, где жизнь цикламенов дрожит на весу,
где лишь с виду - курорт или дача
и в порядке вещей неудача.

Невеликим, недолгим подарком судьбы
было соло для дудочки, не для трубы.
Не избыть, не исчислить итога -
мало звука, да отзвука много.

4

Если недолго роман будет длиться
из-за того, что вдруг жизнь ополчится
неодолимой разлучной водой,
скоропалительной славой худой,
каверзной прихотью непостоянства,
сдвигом в судьбе, переменной пространства,

или хандрой, перешедшей в хамсин, -
всех мы и сами не знаем причин, -
так ведь в нагорной столице не новость
крах потерпевшая свежая повесть.
Вирус, не вирус, - как хочешь, зови
странность иерусалимской любви.
Жар суховейный, озноб, лихорадка.
Вот и траве обожженной не сладко
здесь, где в недавней закатной красе
с ветром зеленым взмывало шоссе.

5

Сон

Пришел. Взглянул. Пошутил с порога.
Подсел к столу. Не суди, мол, строго.

Извлек, слегка похож на мальчишку,
карманный нож, записную книжку.

Открыл в ней с ходу, как бы вслепую,
на "В" страницу, где я бытую.

В два-три движенья ножом изъяты
цифирь и буквы, - координаты.

- А то, - сказал, - отец с того света
спрашивает: "Кто это?"

КТО, КРОМЕ НАС...

Тюбики с красками, холст, мастихин,
вот мы и снова один на один.
Вот мы, как водится, наедине
с ветром сквозным возле света в окне.

Меченый, падает наискось лист.
Грунт незапятнан и помысел чист.
Рай не под крышей и не в шалаше,
и уж, конечно, нет рая в душе.

Волю бы дать слабине, да нельзя:
влага и соль будут застить глаза.
Делая вид, что у нас все путем,
Ерушалаим подружим с дождем.

Знай, не проси золотых середин:
благополучье не пишет картин,
благоразумье не сложит стихов, -
промысел строг, но назначен улов.

Скроют чуть слышных секунд бубенцы,
как упекаются в краски концы
несовпадений, обмолвок, обид.
Кто, кроме нас, их потом разглядит?

Улочка гнется, карабкаясь вверх.
С тысячелетием кончится век.
Не поручусь и за наш. А пейзаж
меньше подвержен стихии пропаж.

* * *

Кто почуял свой край,
тот вверяется зыбкому часу.
Столковаться не может с бедой - не беда.
Вот увозит его
 амбуланс по шоссе на Хадассу.*
И не гаснет от ветра звезда.

Где-то там на весу
 свет колеблемый не разуверен -
не мерцает, а молит: "Помилуй, спаси", -
между тем как внизу
 все огни зажигает Эйн-Керем**
и скользит по наклонной оси.

Душу живу - на круг.
 Будто некто играет в рулетку, -
варианты исчислил и держит в уме
слишком явный недуг,
 а не вдруг освещенную ветку -
придорожный постскриптум к зиме:

"Продержись, поживи.
 Я цвести без тебя не готова..."
На последнем отрезке, где въезд без ворот,
что прочлось, то прочлось.
 А про все остальное - ни слова.
Ночь, как зал ожидания, грядет.

* Иерусалимская больница

** Район Иерусалима

ТЕРЦИНЫ О ЗВЕЗДНОМ НЕБЕ

Прикрыв провал, зияет список неба.
Чуть слышимой латынью говорит,
насущенный, как для верующих треба.

Нет, чтоб утешить. Лишь усугубит
непрочность плоти, обнажив завесу
созвездий, звезд, невидимых орбит.

И, стоит взгляд поднять, как по отвесу,
по вертикали, в ней распознаешь
исток органа, затаивший мессу.

Две мысли на уме. С любой свернешь
в безумие, не будь она мгновенной,
скользнувшей по касательной, как нож.

Одна - о беспредельности вселенной;
другая, возвращаясь без конца, -
о смертной жизни, о благословенной,

где выпал нам билет на два лица,
где вложен смысл, понятный нам, в затею
соседства Козерога и Стрельца.

Но даже и приняв за ахиною
вкрапленье блесток в небосвод ночной,
жаль уходить, не разобравшись с нею,

мерцавшею всю жизнь над головой.

* * *

Если что-нибудь петь, то перемену ветра...

Иосиф Бродский

Иудейский, а не херувимский,
у погоды здешней нрав. В округе
сушь и свет, но ветер аравийский
завывает не слабее вьюги.

Через час, что ясно априори,
ждет нас пекло с пылью, жар с востока.
А хамсин, распространясь на море,
переименуется в сирокко.

Так что где-то в Апеннинах, еле
различимых, как на фото блеклых,
не оставит в жалюзи ни щели
некто, смутно отраженный в стеклах

окон вдоль восточного фасада,
или южной стороны палаццо.
А до нас вдруг долетит прохлада,
буде ей угодно ниспослаться.

Олеандры, кипарисы, кедры
покачнутся, будто выпив виски
о ту пору, как схлестнутся ветры -
атлантический и аравийский.

Свежесть воздуха, пчелиный зуммер
над обрывисто висящим краем

намекнут, что миг непредсказуем
и на выдумки неисчерпаем.

Даже горечь не изгладит спектра,
или в “да” и “нет” игры двойкой,
а направленность и скорость ветра
примирают с переменной всякой.

ВОСТОЧНАЯ МЕЛОДИЯ

Тебе со мной нельзя увидеться,
а жаль.

И мне с тобой нельзя увидеться,
а жаль.

И если превозмочь немеряную даль,
то все равно нельзя увидеться,
а жаль.

Давнишняя молва не вскинется,
а жаль.

Другим на нас права вручили мы,
а жаль.

И порознь мы уйдем, не утолив печаль.

И разминемся мы, родившись вновь,
а жаль.

ДВУСТИШИЯ

Напрасно предлагалось мне судьбою
то блюдечко с каемкой голубою.

Моим оно не сделалось, и ныне
осколкам нет числа в песке и глине.

Я роль везуньи провалила с треском,
ведомая их острым звездным блеском.

Зато какая вечная забота -
из черепков пытаться склеить что-то.

ДОПОЛНЕНИЯ К БЛАЖЕНСТВАМ

1

И перепало мне, как по Матфею,
блаженство нищих - духом. Разумею
его слова с поправкой небольшой:
блаженны неимущие - душой.

Тем более, когда за нею лира,
и где-то впереди - обрыв пунктира,
и кто-то надзирает с высоты,
чтоб высекался блеск из нищеты.

2

В стесненных обстоятельствах, - а как
еще, скажи? Другое непривычно,
при том, что нам довольство неприлично
и вне традиций потребление благ.
В стесненных обстоятельствах, с трудом,
в рассрочку, в долг, - и не для полных мисок.
Но грех роптать: какой достойный список
пополним, если только доживем.

3

Уж я-то с притязаньями в расчете.
Серебряная утварь в позолоте
не для моих владений инвентарь.
И камешком с огранкой вон из ряда
потешь, судьба, другую: будет рада;
меня же ты иначе отоварь.

На темный к ночи бархат нефутлярный
есть звездный блеск, есть лунный, есть фонарный -
кто скажет мне, что он убог и сир?
Стена с подсветкой, окна вдоль проулка.
Вот это, доложу я вам, шкатулка.
Вот это, я добавлю, ювелир.

У МОГИЛЫ АННЫ АХМАТОВОЙ

Стала б я богаче всех в Египте...

Анна Ахматова

Ненастный день, повернутый к дождям
и холоду, не на руку цветам
оранжерейным, привозным, с заботой
уложенным; он на руку грибу
и яблокам, лежащим, как табу
на погранность, и мелочи, с охотой
им приданной - блеснуть, как чешуя
дешевой медной рыбки. Есть судья
и на тебя, пророческое слово.
Понадобилось много зим и лет
с тех пор, как возвращен ее билет,
и всех она богаче в Комарово
на кладбище.

ПОСВЯЩЕНИЕ ИОСИФУ БРОДСКОМУ

Между выцветших линий
на асфальт упаду...

Иосиф Бродский

Русскоязычный поэт за границей живет,
пестует слово, прорехи на сердце латает.
Русскоязычная муза из вьюжных широт
с дудочкой, как с контрабандой, к нему прилетает.

Мы же, бесхозные, брошены на произвол
дней в прозябанье, огня, перешедшего в тленье,
в снежной Пальмире, где ныне буксует глагол,
чья стихотворная слава гремит в отдаленье.

Здесь выпирал вон из ряда он, выпертый зря,
ибо знаток утверждает: как ни голосисты
певчие птицы, но без соловья-главаря
оскудевают дерзаньем в руладах солисты.

Вот ведь и это - застойного времени знак:
часть достоянья страны, - не придумать окольней, -
речью исходит, за что и вздымается флаг,
некрасноцветный,

над ратушной крышей в Стокгольме.

Мощному голосу, вбитому в память, как клин,
звуку и эху с раскатами их

поневоле

мог бы завидовать синагогальный раввин,
греческий трагик, орган многотрубный в костеле.

Что же в остатке? К былому взывать: не покинь.
Помнить, как шествовал в залах дворцовых античных
вдоль эрмитажных знакомцев - богов и богинь.
Дом вспоминать, где однажды был гость
сверх обычных.

Если о предубежденности...

Чванство и спесь
жизнь отравляют. А все же растают, как иней.
Всем и всему вопреки он останется здесь,
тенью упав на асфальт между выпцветших линий.

1988

Ленинград

II

* * *

Кто к разладу приучен,
тем спокойствия нет.
Снова на небе тучи
ополчились на свет.

Можно сбиться со счета, -
столько раз среди дня
там сражается кто-то
за и против меня.

Так вот целые годы
то в свету, то в тени
с перемены погоды
начинаются дни.

Над слезами и смехом,
над моей головой
с переменным успехом
продолжается бой.

* * *

И хоть бабушку ни разу
не видала, по рассказам
помню я, что, как немилость,
ей собаки злые снились,
что бросались и рычали,
а она во сне кричала.
Дед, проснувшись, не ругал.
Он ее оберегал.
И руками резал мрак,
прогоняя злых собак.
Не в уюте, не в тепле, -
дед и бабушка - в земле.
В землю - знаю это с детства -
их живьем зарыли немцы.
В Могилеве это было.
В Могилеве их могила.
Вот и все. Точней про место
не узнали. Неизвестно.

Через годы не помочь им.
Оттого, наверно, ночью -
это было, есть и будет -
и меня собаки будят...

ВЕЙМАР

Дом Гете, где он еще дома
и может шагнуть за порог.
И будет, как добрый знакомый,
радушен пивной погребок.

Еще он министр и писатель.
Еще не уводит асфальт
к столбу, где висит указатель
на буковый лес - Бухенвальд.

ГАЙДН. ПРОЩАЛЬНАЯ СИМФОНИЯ

И все музыканты сегодня в оркестре
притихнут, как прежде, - и вот,
никем не замечен, великий маэстро,
свой знак подавая, войдет.

И разом начнется. И я не поверю
до мига, пока различу,
что кто-то уйдет из игры этой первый
и первым задует свечу.

И каждый, прощаясь, задует две эти
свечи под изгибами век.
А что же маэстро? Он в тесной карете
умчит в восемнадцатый век.

Он скажет: “Так много прощаний за вечер,
что больше прощаться невмочь”.
И ветер деревья задует, как свечи.
И сразу надвинется ночь.

* * *

Искусной технике на зависть,
не знаю, как совершена,
во мне хранится звукозапись, -
вам недоступна, мне слышна.

Во мне хранятся, как на фото,
сосна, чешуйки на сосне.
И тень густая от кого-то,
незрима вам, доступна мне.

Но не узнать и мне с годами
не мною собранный багаж:
признание, слышанное вами,
и вами виденный пейзаж.

И если, пожелав открыться,
мы обращаем время вспять,
то есть в любом из нас граница,
и что за ней - не передать.

* * *

Далеко-далечко
вел и вел бы след.
Старое колечко,
сколько тебе лет?

Над тобой колдую,
в камешек смотрю.
Вижу молодую
бабушку мою.

Рядом с нею вижу
всех ее сестер.
Отзвучавший слышу,
дальний разговор.

Может быть, и лживы
слухи про тот свет -
где-то в прошлом живы
те, кого уж нет.

Там колеблет свечка
тень на потолке.
Там мое колечко
на другой руке.

* * *

Что сделалось? Спокойная до грусти,
нащупав выключатель на стене,
я каждый вечер зажигаю люстру
и продлеваю комнату в окне.

Что зеркало? Там нет воображенья.
А тут, мешая небо с потолком,
наложены прозрачно отраженья
на все, что существует за окном.

Две люстры темноту одолевают.
Становится двойною тишина.
И разом два стола я накрываю -
по ту и эту сторону окна.

* * *

Уж если не плачет жена,
лук репчатый режа на части,
то ведьмой она рождена,
а кухня для ведьмы - пристрастье.

Ей, ведьме, неведома грусть
на зимы, на лета, на годы.
Такого родства не боюсь.
Я тоже из этой породы.

Милы мне моркови пучки,
лимоны в обветренной коже.
Но только лишь перца стручки
на шапочки гномов похожи.

Приправам, различным на вид,
служу я невольною сводней.
Как варево славно кипит -
как будто котел в преисподней.

И здесь, когда все под рукой,
о сестры, какое веселье -
напиток варить колдовской
с названьем любовное зелье.

* * *

Отмелькали дни, как будто спицы,
времени проматывая нить.
Никуда не надо торопиться,
ничего не надо торопить.

Странно жить в покое непрерывном,
дочке сказки давние читать,
просыпаться в доме деревянном,
в деревянном доме засыпать.

И бродить, не выбрав направленье,
где зеленый свет и полумрак,
а березам тычется в колени
малый, несмышленный березняк.

* * *

Гуляка ты и ветер,
шальная голова.
Забудь, что я на свете
пока еще жива:
отсюда, где теперь я,
наверно, жизнь мала, -
дни падают, как перья
из белого крыла.

И пусть, и слава богу,
что скуден их запас,
что много их, так много
разъединяет нас
и что одна простая
доступна благодать:
от лебединой стаи
до смерти не отстать.

* * *

В мире, где так часто звучал
голос мой - плач и смех,
над головой звездный овал
кто-то делил на всех
и для звезды, каждой звезды
свой отмерял путь.
Ниже травы, тише воды
стану когда-нибудь.

В мире, где так много помех,
чтоб распрямиться в рост,
я за один главный успех
произносила тост -
да не клонить вниз головы
завтра, что там ни будь.
Тише воды, ниже травы
стану когда-нибудь.

* * *

Сердцу, наверно, видней,
если такое случилось:
легких, крылатых коней
я рисовать научилась.

Каждый - беглец и скакун,
каждый - для песенной доли.
Так улетай, мой табун,
в небо, как в звездное поле.

Пусть же, по звездам звеня,
все разглядишь и расслышишь
и за других, за меня
вдоволь простором подышишь.

Страшно забыть о звезде -
прежней отраде и боли,
страшно достаться узде
и покориться неволе.

СЕНТЯБРЬ

Я сентябрю, где яблоки и вина,
другой сентябрь сегодня предпочту.
Там ни души. Там терпкая рябина.
И долгий привкус горечи во рту.
И тщетно кто-то голосом невнятным
зовет кого-то к позднему столу.
И мне уже становится понятно,
что нет цены последнему теплу.

* * *

Близкая осень у нас впереди.
Западный ветер приносят дожди,
северный - похолоданье,
темную грусть на прощанье.

Тянется с неба, прохладен и густ,
дождик на крышу и дождик на куст,
дождик на воспоминанье,
дождик на дня убыванье.

Жизнь наша вправду быстра и мала,
да и к тому же в ней мало тепла, -
мало на душу живую,
мало на землю сырую.

* * *

С какой поспешностью окно
меняет свет и тень.
Мелькнет рассвет - и вновь темно,
а ночь мала, как день.
И время не умерит пыл,
вращаясь впопыхах,
хоть, верно, выбились из сил
две стрелки на часах.

И трижды прав, кто говорит
годам прожитым вслед:
“Без передышки жизнь горит,
как спичка: раз - и нет”.
Вот и моя пришла пора
признать закон огня.
Быстрее бикфордова шнура
сгорает жизнь моя.

* * *

Когда нам тревожно и худо
и кругом идет голова,
и не предусмотрено чудо,
приходят простые слова:

не слишком грусти о покое -
не так уж тебе тяжело;
быть может, случившись, плохое
от худшего уберегло.

—

Ждать погоды? Ненастья?
Что нам выпадет вскоре?
Далеко ли до счастья?
И не близко ли горе?

Не гадай. Вот расписка.
Я даю тебе слово:
одинаково близко
до того и другого.

* * *

В глухом краю
посмертной доли,
в чужом раю
по доброй воле,
уже нигде
иль за морями
равно и те,
и те не с нами.

Вздохнем им вслед,
сутуля плечи:
“Иных уж нет,
а те - далече”.
Потом с тоской,
продолжив, скажем:
“Хоть век другой,
разлука - та же”.

ПОРТРЕТ

Посиди, я тебя нарисую.
Безупречные фото - впустую.
Верю карандашу, а не им,
вмиг лишавшим твой облик под глянцем
черт, знакомых еще по фламандцам
и Гольбейна портретам мужским.

Варианты тебя на полотнах,
на плафонах и фресках бессчетных
слали издали зримую весть.
Но вовек я тебя, если б встречен
не был ты в незапамятный вечер,
не придумала б лучше, чем есть.

Посиди, подари мне терпенье.
Не мое тут бы надо уменье -
божью искру, хоть не говорят
так теперь, - чтобы грифель, не ломок,
уловил этих карих потемок
на других не растраченный взгляд.

Уж не шрифт, не пейзаж на примете.
И грозит дилетантством в портрете
скудный навык, забытый рукой.
Но до вечера в окна и двери
посиди, как на "Тайной вечере"
кто-то давний и схожий с тобой.

ВОСЬМИСТИШИЯ

1

Что-то со мной происходит не то.
Дальнее имя вернулось и дышит.
Слух против воли далекое слышит.
Давняя мука, теперь ты за что?

Видно, спешил с утешением, кто
наобещал: “Что пройдет, будет мило”.
Память, за что ты? Ведь я не любила.
Он-то любил. Так любил! Вот за что.

2

Балованный, уверенный,
удачи на краю
не знал, кому примеривал
фамилию свою.

У ног - пыль подорожника,
у помыслов - тетрадь.
Портрет жены художника
нельзя с меня писать.

3

Гляну колдуньей. Не взгляд - взор
из-под сухих век.
Вот по таким плакал костер,
только - другой век.

Жить мне, ведьмою не сльвя,
прошлое гнать прочь.
Но потому у него сыновья,
что у меня - дочь!

4

Не пепел те письма, не дым,
хоть к этому приговорила.
(Горите огнем голубым!
Так мало хорошего было.)

Теперь все в защиту их: речь
и чувств благодарная сила.
Еще чего, рвать или жечь.
Так много хорошего было!

5

.....
.....

6

Тесен мир, тесен свет,
а на легкость нет прав.
Сколько зим, сколько лет! -
не воскликнуть, узнав.

Отсияет овал.
Отсверкает звезда.

Чтобы зла не держал,
не сказать никогда.

7

Свой у памяти круговорот:
то щадит, то без жалости ранит.
Но всегда - чем на дольше замрет,
тем сильней и внезапней воспрянет.

Не отступится, - не прекословь.
Вся - безумство, с ума она сводит.
Довелось отвечать на любовь -
тем, что память о ней не проходит.

8

В далекой своей стороне
живет он, покоем храним.
Не упоминай обо мне,
когда повидеешься с ним.

Не тень отодвинутых лет, -
пусть лучше отыщут его
не ранящий душу привет,
звук имени не моего.

9

По влажным улицам хожу,
скрепляемым Невою.
как руку подставлять ножу,
так жить с моей виною.

До неозначенной поры,
навек, до расставанья

какие острые дары -
следы, воспоминанья.

10

Не порастает быль быльем.
Свой скорый суд вершу все строже.
Привычно думы об одном
не отпускают, с болью схожи.

Так долго памятью живу,
такие возвращаю речи,
что, если встречу наяву,
не удивлюсь неожиданной встрече.

11

.....
.....

12

И поседею, и состарюсь,
но долго, впредь
запечатленная, останусь
на свет глядеть.

Темноволоса, тонкошея,
смуглым-смугла, -
хотя смыкается аллея
и тянет мгла.

* * *

Незабываемому вслед
из этих дней глядеть светло мне.
Все помнит он, и я все помню
на расстоянье многих лет.

Пускай по волосам прошлось
сверканье инея и молний, -
все помню я, и он все помнит
сквозь много лет вдали и врозь.

За годом год, за часом час,
пока не опустеет чаша,
небезответна память наша:
кого мы помним, помнят нас.

* * *

Льются полосы света и тьмы.
Есть ли чересполосица краше?
На чуть-чуть в ней меняемся мы -
и меняется прошлое наше.

Прячась в памяти, день или год
изменяются, жаждут огласки.
И бывшая любовь предстает
в новом свете и в новой окраске.

Ярче прежней себя, и права
перед всем в настоящем, и снова -
быть не может! - желанна, жива,
и нова, и вернуться готова.

* * *

Держись за жизнь, душа,
в час ночи непроглядный,
как тень и тишина,
как света островок.
Ты выбрала сама
удел свой беспощадный.
Какой огромный труд,
какой короткий срок!

За благосклонность муз
вся участь - вот расплата
до нас, и нам, и тем,
кто осчастливлен впредь.
Свеча ли догорит,
угаснет ли лампада -
тебе еще гореть,
тебе еще гореть.

Зато, подобно снам,
спешит, роясь, подмога -
предшественники, кто
в деяньях преуспел:
“Выносливый тростник,
превысь хотя б немного
возможных сил предел,
возможных сил предел”.

Превысим. Наш черед
корпеть небезнадежно.
Кругами по утрам
глаза обведены.

О, как желанна жизнь,
когда в ней все возможно
под реквием ночной
часов и глубины!

ГРАВЮРА НА ДЕРЕВЕ

Самшит затонирован. Спилу ствола
не снятся ни музы, ни лира.
Сплошная неисповедимая мгла,
как до сотворения мира.

Творю, позабыв о еде и питье,
на въезд в неизвестное визу.
И вот уже контуром в небытие
дано углубиться эскизу.

В потемки, смычки мои, до свету в путь -
нащупывать медленно тему:
ведь скоро сказать, да не скоро вдохнуть
живое движение в схему.

Смелее, смычки, отвоевывать пядь
за пядью для неумолчанья:
ведь просто узреть, да не просто отнять
мерцанье, свеченье, звучанье.

Возможно ли? Даже дефекты доски
Сплошь на руку и потекают:
неровность шлифовки, пробелы, сучки,
задоринки - вдруг подыграют.

Так запечатлется вьюги свирель,
мелодию вихрями метя.
Так ветер-поземка и ветер-метель
останутся зримы на свете.

Дощечка, где только вначале темно,
ценней, чем увесистый слиток, -
такое в ней множество заключено
еще предстоящих попыток!

Лишь был бы над нею гравер не бескрыл, -
и с робостью сладит отвага.

... А старец мифический

мир сотворил

всего-то однажды, бедняга.

* * *

То удача прильнет, то грозит
злая весть иль недоброе слово.
Но и в светлом, и в темном сквозит
бытия золотая основа.

Как помотришь на пеструю нить,
станут легче разлад и усталость.
Этой жизни могло и не быть,
но она, как-никак, состоялась.

РУКОПИСНЫЙ ШРИФТ

Строк не отстукивать.
Спешке - протест.
Долго, по буковке,
пишется текст.

Скажешь - страдалица?
В каждом значке
что-то скрывается,
как в тайнике.

“Т” и - под тучами
ливни видны.
“М” - взбаламучены
враз две волны.

В “О”, как в подзорную
глядя трубу,
“Смилуйся!” - черную
просишь судьбу.

“А-а!” - значит, схвачена
зыбью душа.
Смертно, трехмачтово
кренится “Ш”.

Думал - идиллия?
Темень и страх.
Тонет флотилия
в средних веках

САПФО

Отгрезились музы и лира,
могущество и волшебство.
Но чудится отсвет сапфира,
когда произносят: Сапфо.

Как будто у моря, у кромки,
несомы песком-решетом
не речи обрывки - обломки
галеры, расколотой в шторм.

Но щепки, но крохи по книгам
в сдуваемой легкой пыли
подобны вакханкам и никам,
что к нам целиком не дошли.

Уже никому не добавить
ни слово, ни складку, ни прядь,
а только пытаться представить -
и, тщетность поняв, отступить.

Что домыслы наши, уловки
живучим осколкам с листа?
Невольные их недомолвки
досказанности не чета.

Такие пробелы, что имя
древней и ценимее стократ.
Такие обломки, что ими
века и века дорожат.

АГАТ

В этом агате осталось тепло Коктебеля,
марево дымчатой бухты,
 волна, окаймленная пеной,
воздух, настолько родной, словно от колыбели
только его и вбирала,
 полжизни, как вид несравненной
береговой полосы, где холмы и распадки,
гор соразмерные главы,
 волошинский профиль отвесный,
дерево-память, где все - подтвержденье догадки:
райские кущи вторичны,
 вначале был рай поднебесный.

Близ перевала, где тропы все меньше пологи,
планером, птахой парила
 на токах легенды и были.
И у могилы стояла, подумав, что боги,
будь они смертны в Элладе,
 друг друга бы так хоронили -
вровень с вершинами, с небом и все же на суше,
благословенной Тавриде,
 подобной хотя бы отчасти.

Лгут, что счастливее нас нерожденные души -
горя земного не зная, зато и великого счастья.

Чувств полнокровных испытывай нас амплитуда,
ты, прозорливая память,
 и ты, незабывчивость зренья.
Все-то там было по мне. И пленяют оттуда
даже фрагменты, детали
 картины, смещая мгновенья.

Пращур, что знал Средиземного моря соседство,
сердцу ль навеял, что ветром
 таким же бывал он обласкан?
Светится ль мамино феодосийское детство
с улицей вдоль побережья,
 неведомой мне Итальянской?

Да не прижиться уж там, словно в оранжерее,
теплого моря вдыхая
 с туманом не смешанный запах,
чувствуя тягу иную, что много сильнее, -
города рек и каналов,
 равнин твоих, Северо-Запад,
лета, с которым, скорей всего, выйдет осечка,
свежего воздуха, - листья
 откружит он за три недели.
Зонт раскрывая, взгляну невзначай на колечко.
В этом агате, скажу я,
 осталось тепло Коктебеля.

* * *

Где изнутри фанерою обит
чердак - он принимает нас на лето, -
стекляшка, пустячок под малахит,
что вопиешь о роскоши нелепо?

Нам ни на вещи взгляд, ни на житье
не изменить. Зато без оговорки
прекрасно здесь сокровище мое -
трилистник мой,
вид из окна в три створки.

Толпа деревьев, яблоневый сад,
дорога между ними да ограда.
Но будто солнце льют и дождь струят
три неба и соседствуют три сада.

Ах, створки! Три отдельных череды,
три символа живых десятилетий:
цветенье в первой, во второй плоды
и увяданье медленное в третьей.

* * *

Нет бабушки давно. И мало кто
о ней вдруг вспомнит.

Вспомнив, не заплачет.

А на гвозде висит ее пальто
под крышею двускатною на даче.

И виснут складки скопищем пустот,
особенно когда вблизи обнова
не так висит, не так себя ведет,
не так живет, сойдя с плеча живого.

И проходящий мимо товарняк,
гружен и тяжек почве худосочной,
раскачивает вместе с ним чердак,
дощатый, продуваемый, непрочный.

Еще согреет, если холод лют,
собой укроет, если ночь зловеща.
Но ложь, что вещи дольше нас живут:
хозяин мертв - и угасают вещи.

И можно сокрушаться жизнь насквозь -
не любят ждать мгновенья роковые,
и наспех все, и так уж повелось -
запаздывают строки стиховые.

ПЕСНЯ О ПОРТНОМ

Не ходят беды стороной.
Но, как-никак, живет портной
в старинной песне, вдалеке,
в почти умолкшем языке.

Прихлынув, душу бередит
мотив сквозь местечковый быт,
погромы, гетто, газ печной,
рвы с шевелящейся землей.

У песни - песенный удел.
Осталась тем, кто уцелел.
И я узнала не из книг
Шолом Алейхема язык.

Ее, с минувшим говоря,
Певала бабушка моя.
Ее доньне мой отец
поет, вздыхая под конец.

Выходит, я пошла в родню.
Перевести, о чем пою,
Я попытаюсь, но учти -
точь-в-точь нельзя перевести:

“Все дни портной
сидит с иглой.
Встает чуть свет,
а хлеба нет.

Лишь знай держись -
кругом нужда.
Коль это - жизнь,
что смерть тогда?"

Не песня - кособокий кров.
Дом без еды, и печь без дров.
И над шитьем сидит, понур,
бедняк с юдовинских гравюр.

Его б от песни отделить.
Его б меж нами поселить.
Ему б вручить немедля дар -
зарплату или гонорар.

Ему б освоиться в судьбе
и словно бы не о себе
тянуть вполголоса напев,
чтоб не забыться очерстнев.

* * *

Не получатель и не отправитель,
был, не как все, на почте посетитель.
Он возвестил, захлопнув дверь рывком:
- Я Амундсен! Слыхали о таком?

В похолодевшем, поутихшем зале
его глаза безудержно блуждали
и цели не искали никакой.
Что Амундсен ему, а не другой?

Невидимым цилиндром отчужденный,
обернут пустотой, как прокаженный,
перемещался он, иль как чумной, -
ведь все спешили юркнуть стороной.

Шарахание это, в самом деле,
могло напомнить сцену из “Жизели”,
хоть не был соответственно одет,
причесан и обут кордебалет.

И если б кто-нибудь прочел те мысли,
что в воздухе надышанном повисли,
заговорила б классика сама
в словах: “Не дай мне бог сойти с ума...”

Давно уж, словно предостереженье,
он трогает мое воображенье.
Нет-нет да и потянет холодком:
- Я Амундсен! Слыхали о таком?

Наверно, этот выбор не случаен
в том смысле, что, беспмятно-отчаян,
чужую, но ярчайшую судьбу
он примерял, неся ладонь ко лбу.

Свои у каждой участи прорехи,
свои неустранимые помехи.
А разум от безумья, как ни глянь,
наклонная отъединяет грань.

Что, если я скользну по ней, недлинной?
Я стану называть себя Мариной,
иль Анной, иль Сапфо.

И черта с два
скажу, что дочкой пекаря сова
была, по слухам, раньше...

ПРИХОД ЗИМЫ

И нет причин сходить с ума.
И невзначай вина прощается.
Так возвращается зима,
как будто детство возвращается.
И снова ни при чем мошна
с ее бумажными и медными.
И любо, стоя у окна,
следить полет снежинок медленный.

Еще ни горя, ни письма,
и счастья нет, но обещается.
Так возвращается зима,
как будто детство возвращается.
И нескончаемы года.
И все пути-дороги длинные.
И замирают, как тогда,
без листьев ветки тополиные.

* * *

Но мы, пожалуй, веселее...

Д. Самойлов

Чтобы взгляд с мельтешеньем не свыкся
и язык жаждал слов, как волшбы,
отражались друг в друге два сфинкса -
двуединные знаки судьбы.

Постигала близ них я с природы
кладкой строк и движеньем штриха
петербургскую школу гравюры,
петербургскую школу стиха.

Впитан мной на соблазны не падкий
строф и линий торжественный строй,
как балтийского ветра повадки
и Атлантики воздух сырой,
и преданья о судьбах опальных,
и в следах артобстрелов гранит,
и доньне непровинциальных
невских белых ночей колорит.

Есть, что помнить, и есть, чему длиться.
Не ища ни молвы, ни щедрот,
в стороне от веселой столицы
мы еще поглядим, чья возьмет.
Поглядим, не унизив глагола
и резца не роняя из рук.
Ведь слова “петербургская школа”
так же прочны, как “пушкинский круг”.

* * *

Как я поживаю? Все так же,
как прежде. и в той же стихии.
Порою не верится даже,
что все мы - и вправду другие.

И путь мне все тот же - по грани,
где горе и счастье в помине.
И адрес на меридиане
с далекой поры и доньне.

И жизнь, леденя или грея,
всем сущим дивит, как впервые.
И так же меняет в нас время
не души - лишь клетки живые.

И что из того, что не схожи
дни с днями, а годы - с годами?
Все - так же, все - там же, все - то же.
Все наше останется с нами.

СОДЕРЖАНИЕ

I

Июль 1992 года	3
Взамен родословной	4
Начало молитвы “Шма”	5
Строфы из письма	6
“Поверх ребристых крыш...”	7
Каллиграфический рисунок	8
Последняя прогулка	9
Зов	11
Ностальгия	12
“Ни кола, ни двора...”	14
Непогода в Иудее	15
Иерусалимское окно	16
Шабат	17
“Не по питерской улице...”	19
Напевные стихи	20
Кто, кроме нас... ..	24
“Кто почувал свой край...”	25
Терцины о звездном небе	26
“Иудейский, а не херувимский...”	27
Восточная мелодия	29
Светотень	30
Двустушия	31
Дополнения к блаженствам	32
У могилы Анны Ахматовой	34
Посвящение Иосифу Бродскому	35

II

“Кто к разладу приучен...”	37
“И хоть бабушку ...”	38
Веймар	39
Гайдн. Прощальная симфония	40
“Искусной технике на зависть...”	41
“Далеко-далечко...”	42

“Что делалось?..”	43
“Уж если не плачет жена...”	44
“Отмелькали дни...”	45
“Гуляка ты и ветер...”	46
“В мире, где так часто звучал...”	47
“Сердцу, наверно, видней...”	48
Сентябрь	49
“Близкая осень у нас впереди...”	50
“С какой поспешностью окно...”	51
“Когда нам тревожно и худо...”	52
“В глухом краю...”	53
Портрет	54
Восьмистишия	55
“Незабываемому вслед...”	59
“Льются полосы света и тьмы...”	60
“Держись за жизнь, душа...”	61
Гравюра на дереве	63
“То удача прильнет...”	65
Рукописный шрифт	66
Сапфо	67
Агат	68
“Где изнутри фанерою обит...”	70
“Нет бабушки давно...”	71
Песня о портном	72
“Не получатель и не отправитель...”	74
Приход зимы	76
“Чтобы взгляд с мельтешеньем не свыкся...”	77
“Как я поживаю?..”	78



Ася Векслер - поэт и художник, автор нескольких стихотворных книг, изданных в Петербурге. Ее стихи переведены на французский и немецкий языки, включены в антологии.

С 1992 года живет в Иерусалиме.

“Под знаком Стрельца” - первая ее книга, вышедшая в Израиле.